

ЕВА ЗИМИНА



Запретный
дар для
дракона

Ева Зимина

Запретный дар для дракона

«Автор»

2026

Зими́на Е.

Запретный дар для дракона / Е. Зими́на — «Автор», 2026

Инспектор Линнея Корф верит: что записано — то и правда, а чего нет в реестре — того нет вовсе. Её перо находит незаконный дар и заносит в графу, а для огня это приговор — Обитель Пепла. Она безупречна на бумаге. Пока корона не посылает её поверить книги самой Обители, где мёртвых записано больше, чем когда-либо хоронили. Там её встречает Серый лорд Альрик Дейн — пепельный дракон, чья кровь создана гасить чужой дар. Вся империя зовёт его палачом одарённых. Но его книги слишком безупречны, а по ночам в запертом крыле плачет ребёнок, которого по бумаге давно нет. Между ними — закон, велящий ей сдать его. Между ними — ложь, на которой стоит вся держава. И одна старая честная печать, что чернеет на лжи и ложится чисто на правду, — против поддельного корня, заверившего тысячи смертей. Полюбить дракона-палача — измена всему, во что она верила. Не полюбить — измена тому единственному, что вдруг оказалось правдой.

© Зими́на Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Поверка	5
Глава 2. Обитель Пепла	10
Глава 3. Расхождение	15
Глава 4. Серый лорд	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Ева Зими́на

Запретный дар для дракона

Глава 1. Поверка

Что не записано — того нет; так меня учили, и я верила в это, как другие верят в богов, пока не приехала туда, где мёртвых было записано больше, чем когда-либо хоронили.

Но в то серое утро я ещё верила. Я стояла в чужой кухне в нижнем городе Аркенхольма, держала перо над раскрытой книгой учёта, и руки у меня были спокойны, потому что спокоен тот, у кого сходится баланс. У меня всегда сходился. За девять лет в Комиссии по учёту одарённых я не оставила ни одной незакрытой графы. Люди говорили об этом по-разному — кто с уважением, кто сквозь зубы, — но говорили все. Инспектор Корф не ошибается в счёте. Инспектор Корф спишет недостачу даже с собственной матери, если у инспектора Корф когда-нибудь была мать, в чём в нижнем городе сомневались вслух.

Я читаю чужой дом, как читают книгу учёта: по тому, что в нём прячут. В честном доме прячут деньги и стыд. В доме с укрытым даром прячут самого человека — отводят глаза туда, где его нет, греют очаг к приходу инспектора, чтобы перебить запах, держат на виду то, что не жалко. Талль держал на виду пустые руки и мятую шапку. Значит, жалко было не руки. Я это поняла раньше, чем учуяла, и стояла, и ждала, пока дом сам мне покажет, что он любит больше закона. Дома всегда показывают. Любовь — самая плохо спрятанная вещь на свете; её видно даже там, где её, по реестру, быть не должно.

— Корин Талль, — прочитала я вслух из графы. — Истопник при банях на Медовой улице. Тридцать один год. Дар не значитя.

— Не значитя, госпожа инспектор, — быстро сказал хозяин дома. Он стоял у остывшего очага, прижимая к груди шапку, как прижимают что-то живое. — Так и не значитя. Я простой человек. Топлю чужую воду, грею чужие спины. Какой во мне дар.

Я не ответила. Я не отвечаю на то, что не относится к делу. Я положила ладонь на холодный кирпич очага — не для тепла, тепла там не было, очаг не топили с ночи нарочно, к моему приходу, чтобы я ничего не учуяла, — и закрыла глаза.

И учуяла.

Это трудно объяснить тому, у кого нет моего дара, а мой дар как раз из тех, что внесены в реестр первой строкой и считаются полезными короне: я чую чужой неучтённый дар ладонями. Не вижу, не слышу — чую, как чуют сквозняк затылком. Рядом с записанным, законным даром мои руки молчат. Рядом с укрытым, незаписанным — стынют. Не от холода. От того, что мир в этом месте сложен неправильно, и кожа на это жалуется раньше, чем я успеваю подумать.

Сейчас она жаловалась. Ладонь на холодном кирпиче ныла так, будто я окунула её в прорубь.

— В этом доме укрытый дар, — сказала я. — Огонь. Слабый, но огонь.

Шапка в руках Талля смялась в комок.

— Госпожа инспектор...

— Огонь запрещён со времён Великой Гари. — Я открыла глаза и посмотрела на него ровно. Я всегда смотрю ровно; неровно смотрят те, кому есть что прятать, а мне прятать нечего, во мне самой всё записано до последней буквы. — Незарегистрированный огненный дар карается Обителю Пепла. Это знает каждый ребёнок в империи. Где он?

И тут из-за занавески, отделявшей кухню от каморки, вышел не он, а оно — то, ради чего этот большой человек комкал шапку и врал мне, врал плохо, как врут честные люди. Девочка

лет четырёх, в одной рубашонке, с лицом, красным от жара, которого я не видела, но теперь слышала кожей всей руки. Она прижимала к щеке ладони отца, и от этих ладоней шло тепло — то самое, нагретое не очагом, тепло, которым в этом доме держали в живых больного ребёнка вторую неделю, потому что лекарь стоит денег, а истопник греет даром.

— У неё горячка, — сказал Талль. И всё. Больше он ничего не сказал, потому что больше нечего было.

Я стояла и смотрела на эту картинку — отец, греющий дочь запрещённым теплом своих рук, — и во мне ничего не шевельнулось. Я хочу, чтобы это было записано честно: ничего. Я была хорошим инспектором именно потому, что во мне ничего не шевелилось. Жалость — это недосчёт, который потом приходится списывать с чужой жизни. Я открыла книгу на нужной странице, обмакнула перо и вписала в графу «дар» одно слово: «огонь». А в графу «решение» — другое: «к учёту». «К учёту» означало Обитель. Все в комнате это знали. Девочка не знала и потому единственная в комнате не заплакала.

— Вы могли бы не услышать, — тихо сказал Талль, когда я закрывала книгу. Не угроза. Просьба. — Вы вошли, очаг холодный, вы могли бы записать «дара нет» и уйти, и кто бы проверил инспектора Корф.

— Никто, — согласилась я. — Инспектора Корф никто не проверяет. Поэтому инспектор Корф проверяет себя сама.

Я достала печать. Свою поверочную печать — свинец в серебре, тяжёлую не по размеру, на рукояти выбит знак Комиссии: раскрытая книга и над ней глаз. Этой печатью дознаватель заверяет запись. Чистый оттиск на правде — запись принята. На лжи свинец плывёт чёрной кляксой, будто его жгут, и тогда запись недействительна, а тот, кто её внёс, отвечает по уставу. Печать не лжёт. Так у нас говорят, и я повторяла это так часто, что слова стёрлись в монету без чекана. Печать не лжёт.

Я прижала её к строке. «Корин Талль. Огонь. К учёту». Подняла.

Оттиск был чёрный.

Не серый, не смазанный — чёрный, расплывшийся, будто я приложила печать ко лжи. Я смотрела на него дольше, чем позволяет приличие, дольше, чем смотрел бы человек, у которого всё в порядке. Запись была верна. Я сама её внесла, своей рукой, и в ней не было ни слова неправды: Талль, огонь, к учёту. Печать должна была лечь чисто.

— Что-то не так, госпожа инспектор? — спросил Талль, и в голосе его, прах его забори, мелькнула надежда.

— Печать устала, — сказала я.

Печати устают. Свинец в них живёт лет десять, потом теряет чутьё, и оттиск начинает плыть на правде, как на лжи. Это бывает. Это бывает у старых печатей у небрежных дознавателей, которые не следят за инструментом. У меня печать была не старая, и я следила за ней, как за собственным пульсом, и она ни разу за девять лет не подвела меня ни на правде, ни на лжи. Но печати устают. Я записала это себе так и закрыла книгу.

Талля увели в тот же день. Девочку забрала соседка — не по закону, незаписанным теплом чужой жалости, которого нет в реестре и которого, значит, нет. Я шла обратно через нижний город, мимо лотков с вяленой рыбой и углём, и держала руку с печатью в кармане плаща, и она была холодной. Не от укрытого дара. Просто холодной.

Меня вызвали в Комиссию к вечеру.

Здание Комиссии по учёту одарённых стоит на верхнем ярусе Аркенхольма, между казначейством и судом, и это не случайность: учёт, деньги и приговор у нас всегда стоят рядом, держась за руки, как три сестры. Внутри пахнет тем, чем пахнет всякая большая запись, — чернилами, воском, сухой бумагой и едва-едва свечной гарью. Для меня это запах безопасности. Я выросла в учётном доме для сирот, где детей записывают, как мешки с зерном, по весу и

сорт, и я рано поняла, что записанный мешок никто не выбросит за ненадобностью, а незаписанный пропадёт, и никто не спросит. Я хотела быть записанной. Я стала записью лучше всех.

В кабинете Великого Поверителя горели две свечи, и за столом сидел человек, которому я была обязана всем, — лорд Ансельм Вердер, Хранитель Главного Реестра, тот, чья подпись когда-то вынула меня из учётного дома и поставила на первую ступень. Ему было под шестьдесят, он был сух и прям, как хорошо очиненное перо, и говорил так, будто каждое слово сначала сверял с описью.

— Линнея, — сказал он. Он один звал меня по имени; для всех прочих я была инспектор Корф, и мне это нравилось больше. — Садись. У меня для тебя наряд, который я не могу доверить никому, у кого дрожат руки.

— У меня не дрожат, милорд.

— Я знаю. Поэтому ты здесь.

У окна стояла ещё одна гостья, которую он мне не представил, и это само по себе было странно: Вердер представлял всех, имя и чин, как опись. Женщина была немолода, в дорожном платье без знаков, и смотрела на меня так, как смотрю обычно я, — ровно, считая. Я приняла её за чиновницу из какого-нибудь тихого коронного ведомства, из тех, что не любят, когда их называют. Я ошиблась только в том, насколько тихим было это ведомство.

— Вы вписали сегодня утром человека за то, что он грел дочь, — сказала женщина у окна. Не Вердеру. Мне. Голос ровный, без укора, будто и она читала меня по графам. — Я не в осуждение, инспектор. Я для понимания. Те, кого вы ищете в этих столбцах, делают то же самое — собирают тепло с таких, как ваш истопник. Только они зовут это не приговором, а товаром, и собирают не в графу, а в склянку. Цепочка длинная. Мы тянем её с побережья третий год, узел за узлом. Этот узел — предпоследний.

— А последний? — спросила я.

— Последний в законе чист, как вымытое стекло, — сказала она и больше не сказала ничего, и Вердер не велел ей замолчать, и я тогда не поняла почему. Я думала — учтивость. Это была не учтивость. Когда стоишь внутри лжи, ты не велишь молчать тому, кто говорит правду; ты просто знаешь, что правде всё равно не поверят без оттиска, а оттиск у тебя.

— До короны дошли книги, — сказал Вердер, и подвинул ко мне через стол тонкую папку. — С побережья. С вольных гаваней Низовья — там этой зимой разобрали гнездо скупщиков дара, может, слышала. Среди бумаг главаря нашлись записи о товаре, ушедшем не за море, как все думали, а к нам. На сушу. Вглубь.

Я открыла папку. Столбцы. Я люблю столбцы, в них видно сразу. Даты, метки, суммы — и графа «исход». Против многих строк стояло слово, которое я писала сегодня утром чужой рукой судьбы: «угашен». Дар угашен, носитель угашен — так в наших книгах называют исполнение приговора Обители Пепла. Огонь гасят. Это милосердно звучит, «угашен», гораздо милосерднее, чем есть на деле.

— Эти люди значатся угашенными в Обители, — сказала я, ведя пальцем по столбцу. — По нашему Главному Реестру.

— По нашему Главному Реестру, — повторил Вердер. — А по книгам скупщика их дар продавался ещё год спустя. Живой. Огонь с покойников, Линнея. Либо лжёт скупщик — мёртвый человек, которому незачем лгать в своей бухгалтерии. Либо лжёт наш Реестр.

В кабинете стало очень тихо. Свечи не трещали — хорошие свечи. Я слышала собственную кровь.

— Главный Реестр не лжёт, — сказала я. Это не убеждение. Это первая строка устава, её учат наизусть в первый день. Главный Реестр — мерило всех мер; то, чем поверяют, само не поверяется; на нём стоит империя. Усомниться в Главном Реестре — всё равно что усомниться, что три больше двух.

— Вот ты и поедешь убедиться, что он не лжёт, — мягко сказал Вердер, и я не услышала тогда, как мягко, потому что мягкость в нём была так же редка, как недостача в моих книгах, и я приняла её за доверие. — Поедешь в Обитель Пепла. Поднимешь их книгу угасаний за десять лет. Сверишь с этими столбцами оттиск за оттиском, имя за именем. Найдёшь, где разошлось. И заверишь своей печатью, что Главный Реестр чист.

— А если он не чист?

Я сама не знала, зачем спросила. Это вырвалось, как вырывается у меня раз в год какая-нибудь глупость, после которой я неделю собой недовольна. Женщина у окна впервые шевельнулась — чуть-чуть, как шевелится тот, кто отметил нужное слово.

— Тогда ты найдёшь, кто его запачкал, — сказал Вердер. — И впишешь его имя в графу. Ты умеешь вписывать имена в графу, Линнея. Это твой дар, не тот, что в ладонях. Поезжай.

Он не сказал мне тогда того, что должен был сказать всякий, кто посылает человека в Обитель Пепла: что хозяин её — пепельный дракон из дома Дейн, что инспекторов он не любит, что последний поверитель, которого туда послали проверять книги, вернулся через неделю и попросился со службы прочь, в писари, в тишину, лишь бы не туда. Этого Вердер не сказал. Я узнала это сама, в дороге, от возницы, который высадил меня за пол-лиги до ворот и не поехал дальше ни за какие деньги.

— Дальше сама, госпожа, — сказал он, не глядя на серую стену пустошей. — Туда лошадь не идёт, и я с ней. Там Серый лорд.

— Смотритель Обители, — поправила я. — Лорд Дейн. У него есть имя и чин.

— У него есть кровь, — сказал возница и сплюнул через плечо. — Дом Дейн испокон веку гасит огонь. Так на них присяга легла, как на иных — корону носить. Кальдоры на юге одни во всей империи жгут по закону, слышали? А Дейны — одни во всей империи по закону тушат. Чужой дар при них стынет и гаснет, и сами они носят в себе не пламя, а вот это. — Он кивнул на беззвучную серую муть. — Тихую бурю. Она не ревет, как наша гроза. Она хоронит молча. Прошлый ваш приехал книги считать — воротился через неделю белый и попросился в писари, абы не туда. А вы, госпожа, налегке идёте. Перо да печать. Ну, прах с вами. — И уехал, и пыль за ним была обычная, бурая, живая, и я смотрела ей вслед дольше, чем стоило.

Пепельные пустоши начинаются там, где кончается всё остальное. Сначала пропадают деревни, потом дорога, потом трава, и остаётся серое — не песок, не земля, а пепел, слежавшийся в наст, по которому ветер гонит сухую серую позёмку. Говорят, тут когда-то горело так, что выгорело само время. Говорят, тут стоит Обитель потому, что больше ей негде стоять: пепел к пеплу.

Я шла пешком, и плащ мой к третьей версте стал серым, и губы стали серыми, и пепел скрипел на зубах тонко, как мел. А потом поднялась буря.

Я ждала бури с громом — я выросла в городе, я думала, буря это гром. Эта была без грома. Серая стена встала на западе беззвучно и пошла на меня, и в ней не было ни молнии, ни воя — только тишина, плотная, как войлок, в которую проваливались все звуки мира. Пепел поднялся с земли и встал столбами, и закрутился, и я перестала видеть свои руки. Это и есть тихая буря пустошей, та, которой пугают на суше, как у нас на побережье пугают вдовьим платком. Морская буря ревет и предупреждает. Эта хоронит молча. Я успела только подумать, что не записала, куда иду, и что незаписанного не ищут, и что меня, инспектора Корф, заметёт серым в трёх верстах от ворот, и в Главном Реестре против моей строки поставят аккуратное «пропала без вести», и это будет первая в моей жизни незакрытая графа.

И тогда буря раздалась.

Не стихла — раздалась, как раздаётся толпа, когда сквозь неё идёт тот, кого боятся. Пепел отвалил в стороны двумя серыми крыльями, и в проёме между ними, против ветра, шёл человек. Высокий, в тёмном, без плаща — буря не смела его касаться, обтекала, как обтекает вода камень. Он шёл, и пепел ложился к его ногам, и вставал за его спиной снова, и я поняла, что

это не он идёт сквозь бурю. Это буря шла из него. Он держал её, как я держу перо, — не думая, всем существом, и в этом держании было столько спокойной, нелюдской силы, что у меня впервые за день дрогнули руки.

Он остановился в трёх шагах. Серые глаза на сером от пепла лице — я не сразу поняла, где кончается пепел и начинается человек. Драконы, говорят, стоят не так, как люди; под ним пепел проседал, будто помнил его вес и в облике человека.

— Поверка, — сказал он. Не вопрос. Он смотрел на печать у меня на поясе, на знак Комиссии, и в голосе его не было ни тепла, ни холода — только зола, прогоревшая дотла. — Корона прислала счетовода считать моих мёртвых.

— Инспектор Корф, — сказала я и заставила руки не дрожать. — Комиссия по учёту одарённых. У меня наряд поднять вашу книгу угасаний.

— Я знаю, что у тебя за наряд. — Он шагнул ближе, и буря шагнула с ним, и серая тишина сомкнулась за моей спиной, отрезая дорогу назад. — Слушай меня, счетовод, один раз, потому что повторять в буре я не люблю. Здесь твоя печать ничего не заверит. Здесь всё уже сосчитано до тебя, и сошлось, и закрыто. Поворачивай, пока ветер с тобой говорит тихо.

— Я не поворачиваю с полпути, — сказала я. — У меня не бывает незакрытых граф.

Что-то прошло по его лицу — не улыбка, для улыбки в нём не осталось живого, — а тень того, чем улыбка бывает у людей.

— У вас в книгах всё сошлось, — сказала я, и пепел набился мне в горло, и голос вышел ниже, чем я хотела. — Я приехала это заверить. Заверю — и уеду. Мне нечего тут искать, кроме сходимости.

— Сходимость, — повторил он так, будто пробовал слово на зуб и нашёл его гнилым. — Знаешь, счетовод, чего стоит идеальная сходимость? Её стоит вычеркнуть всё, что не сходится. Живое не сходится никогда. Сходится только мёртвое и поддельное. — Он смотрел на меня сверху, и серые глаза были как два чистых, ровных оттиска, и я подумала некстати, что вот у него-то печать легла бы без кляксы, а потом устыдилась этой мысли, потому что он был чудовище, которое тушит детей, так было записано во всём, что я о нём знала.

— Бывает, — сказал пепельный дракон. — У всех бывает. Просто ты ещё не нашла свою.

И буря понесла нас обоих к воротам Обителя Пепла, которые я приехала проверить и за которыми меня ждала первая в моей жизни запись, не сошедшаяся с правдой.

Глава 2. Обитель Пепла

Обитель Пепла оказалась не такой, как её рисуют на гравюрах в назидательных книжках для детей.

В книжках это чёрная башня с зубьями, и из окон рвётся пламя, которое гасят суровые люди в сером. На деле никакого пламени не было — пламя тут было запрещено, как и везде, только запрещено всерьёз. Обитель была низкая и широкая, врытая в пепельный наст, как зверь, который лёг и больше не встанет: длинные приземистые корпуса серого камня, без украшений, без гербов, с узкими окнами-щелями. Над всем этим стояла одна башня, тоже невысокая, с плоской верхушкой, и я узнала её назначение прежде, чем мне сказали. С такой башни не смотрят вдаль. С такой башни поднимают бурю.

Ворота открыл старик. Не страж в латах, как я ждала, а сгорбленный ключник в сером, с лицом, по которому пепел проложил морщины, как чернила по промокашке. Он глянул на мою печать, на знак Комиссии, и не поклонился.

— Книги в нижней палате, — сказал он. — Лорд велел: считай сколько надо, ничего не трогай руками без него. Я Хальд. Если что нужно — не зови. Я сам приду, когда увижу, что нужно.

И ушёл, оставив меня посреди двора с дорожным сундучком, в котором лежали моя запасная книга, чернильница, песочница и три запасные печати — не поверочные, простые, для черновых оттисков. Поверочная была одна. Поверочная всегда одна, она именная, её носят на теле, и потерять её — всё равно что потерять имя.

Я стояла во дворе и считала, потому что считаю всегда, и счёт у меня не сходился с первой минуты. Я насчитала двух человек на всю Обитель: Хальда и того, кто топил мою келью, кем бы он ни был. Для тюрьмы, где держат самых опасных одарённых империи — огненных, тех, кого боятся больше, чем убийц, — двое это не охрана. Это насмешка. В коронной тюрьме на Медовой на десять воров приходится дюжина стражи с гасителями на поясе; здесь на сто двадцать три приговорённых огнём — старик с ключами. Либо лорд Дейн так уверен в своей крови, что не держит при себе никого. Либо стеречь в Обители давно некого, и двор пуст не от силы, а от того, что я уже начинала подозревать и не позволяла себе додумать. Я записала на полях памяти: «стражи нет». В моих книгах пустая графа кричит громче полной.

Лорд Дейн вошёл во двор следом за мной, и буря улеглась за его спиной так же беззвучно, как поднялась. Вблизи, без серой мути, он оказался моложе, чем я подумала в пустоши, — лет тридцати с небольшим, — и это почему-то было хуже. Старому чудовищу прощаешь, что оно чудовище: оно таким родилось в твоём воображении. Молодому — нет. У молодого спрашиваешь, как он дошёл до жизни такой.

— Нижняя палата сухая и холодная, — сказал он, не глядя на меня, снимая серые от пепла перчатки. Руки под ними были обычные, человеческие, с длинными пальцами, и только по тыльной стороне ладоней шла едва заметная сетка — не вены, а что-то светлее кожи, цвета остывшей золы. — Считай там. Спать будешь в восточной келье, её топят. Хальд носит еду дважды. На нижние ярусы не спускайся.

— Мне понадобятся нижние ярусы, — сказала я. — Книга угасаний ведётся там, где исполняют угасание. Я обязана сверить запись с местом.

— Ты обязана сверить запись с записью, — сказал он. — Так стоит в твоём наряде. Я читал устав Комиссии, счетовод. Поверка — это бумага против бумаги. Место тебе ни к чему.

Он был прав, и это было неприятно, потому что обыкновенно правой бываю я. Поверка и вправду бумага против бумаги: я сверяю книгу угасаний Обители со столбцами из коронной папки, ищу, где сошлось, где разошлось, и заверяю печатью. Спускаться к камерам уставом не

велено. Я хотела спуститься не по уставу. Я хотела пощупать ладонями место, где, по бумагам, угасили сто двадцать три человека за десять лет, потому что моя ладонь чувствует дар, а угашенный дар оставляет след, как пожар оставляет гарь, и я думала пройти по этому следу и убедиться, что он есть. Это было бы лишнее усердие, не положенное по чину. Но я не сказала ему этого. Я уже начинала понимать, что в Обители Пепла лучше не говорить вслух того, что собираешься искать.

— Ты когда-нибудь видела угашение, инспектор? — спросил он вдруг, всё так же не глядя на меня. — Своими глазами. Не запись о нём — его само.

— Нет, — сказала я. — Я веду счёт. Исполнение — не моя графа.

— Конечно, — сказал он. — Перо отдельно, рука отдельно. Ты пишешь «к угашению», ставишь оттиск и едешь домой, и руки у тебя чистые, потому что чистое перо. А я гашу. И знаешь, что я скажу тебе про чистое перо, счетовод? — Он повернул голову, и на сером лице ровные серые глаза были вдруг совсем не ровные, в них на дне что-то горело тем самым, что его дом четыреста лет тушил в других. — Перо страшнее руки. Рука хоть знает, что делает. Перо думает, что ни при чём.

Я не нашлась что ответить, и это случилось со мной, кажется, второй раз за день, а до того не случалось годами. Я списала это на дорогу и пепел.

— Хорошо, — сказала я. — Бумага против бумаги. Покажите мне книгу.

Книга угасаний дома Дейн была прекрасна.

Я говорю это как человек, который видел тысячи книг учёта и любит их так, как другие любят лошадей или вино. Эта была образцовая. Десять лет записей одной рукой — ровной, неспешной, без помарок; каждая строка по форме: дата, имя, дар, приговор суда, дата угасания, оттиск поверочной печати прежнего дознавателя, оттиск печати Смотрителя. Сто двадцать три строки за десять лет, по двенадцать-тринадцать в год, ровно, как капает вода с подтаявшей сосульки. Я листала, и во мне разливалось то спокойное удовольствие, какое бывает от хорошо сведённого баланса, и я почти забыла, что каждая из этих ровных строк — это человек, которого больше нет.

Почти. Я хороший инспектор, но в то утро в кухне Талля что-то во мне сдвинулось на волос, и теперь, листая, я ловила себя на том, что читаю имена. Раньше я читала графы. Графа — это столбец, в нём не больно. Имя — это уже почти лицо. «Сольвейг, прачка, огонь, к угашению». «Беор, коновал, огонь». «Линд, корабельный конопатчик, огонь». «Девочка, имя не названо, огонь». Девочка, имя не названо. Я остановилась на этой строке. По форме всё было верно: даже безымянных мы записываем, безымянность не отменяет учёта, наоборот, требует особой графы. Но рука, которая вела эту книгу десять лет без единой помарки, на словах «имя не названо» нажала перо чуть сильнее. Чернила там были гуще. Я знаю чернила. Так нажимают, когда злятся. Или когда не хотят писать то, что пишут.

Я подняла глаза. Лорд Дейн стоял у окна-щели, спиной ко мне, и смотрел в пустошь, и плечи у него были прямые, как держат не для красоты, а чтобы не согнуться.

— Кто вёл эту книгу? — спросила я.

— Я.

— Все десять лет?

— Дом Дейн ведёт её четыреста лет, — сказал он, не оборачиваясь. — Эти десять — мои. До меня — отец. До него — дед. Мы записываем тех, кого гасим. Это часть присяги: гаситель сам себе и писарь. Чтобы никто не сказал, что мы прячем своих мёртвых за чужой рукой. — Он наконец обернулся, и серые глаза были ровные, как два чистых оттиска. — Считаю, инспектор. Тебе же не терпелось. Считаю и убедись, что мы своих мёртвых не прячем.

Я начала считать.

К вечеру я сверила тридцать строк, и тридцать строк сошлись.

Имя в коронной папке — имя в книге Обители. Дата суда — дата суда. Приговор — приговор. Дата угасания — дата угасания. Оттиск поверочной печати прежнего дознавателя — на месте, чистый, чёткий, знак Комиссии: книга и глаз. Я сверяла оттиски через увеличительное стекло, как учили, — поддельную печать узнают по чекану, у каждой свои шербинки, — и оттиски были подлинными, один к одному, печать одна и та же из года в год. Всё сходилось. Идеальная сходимость, как он и обещал в пустоши.

Меня смутила одна мелочь, из тех, на которых держится всё моё ремесло. Поверочную книгу угасаний по уставу заверяет приезжий дознаватель — раз в год, своей именной печатью, разной у разных людей, потому что дознавателей за десять лет в Обители должно было смениться не меньше трёх. А оттиск стоял один. Один и тот же знак, одни и те же шербинки чекана, десять лет подряд, будто все эти годы сюда ездил один-единственный поверитель и ни разу не сменился, не заболел, не умер. Я знаю наших дознавателей. Мы не камни. За десять лет печать меняется хоть раз — это так же неизбежно, как то, что человек стареет. А эта не менялась. Я записала и это, коротко: «оттиск проверки — один на десять лет, проверить, чья печать». И не подумала тогда, что проверять придётся не чью-то чужую, а ту самую, что висит у меня на поясе, потому что есть печати, которые не меняются именно потому, что они не настоящие.

Весь тот день меня не оставляло чувство, которого я прежде не знала и не нашла бы ему графы: будто Обитель меня считает в ответ. Я привыкла быть той, кто считает; здесь считали меня — каждое моё движение по двору, каждую страницу, которую я перевернула, каждый раз, когда мои ладони замирали над пустотой. Не Хальд, не лорд. Сами стены, сложенные из серого камня поверх серого пепла. Я списала это на бессонницу. Я многое в те дни списывала, как списывает недостачу плохой приказчик, — лишь бы книга на сегодня сошлась. А она не сходилась, и я уже знала, что не сойдётся, и всё равно тянула перо к чистой строке, потому что чистая строка — единственное, что я умела любить.

И мне стало нехорошо.

Не от усталости. От ладоней. Я заметила это не сразу, потому что привыкла к молчанию своих ладоней в обычных местах: рядом с записанным даром они молчат, рядом с укрытым стынут, а где дара нет вовсе — там просто ничего, пустота, как в любой комнате. Здесь была пустота. Ровная, полная, во всех корпусах, по которым меня вёл к келье Хальд, во дворе, в нижней палате — нигде ни укола, ни холодка. И это было правильно: угашенный человек дара больше не носит, угашенный дом дара не хранит, пепел — самое глухое для моего чутья место на свете. Всё правильно.

Но я держала в руках книгу, в которой сто двадцать три раза было написано «огонь». Сто двадцать три огненных дара прошли через эти стены за десять лет — приведённые сюда живыми, гашённые здесь. Дар не гаснет бесследно. Я бывала на местах исполнения приговоров, я знаю, как ноет ладонь там, где гасили огонь: гарь держится годами, как держится запах дыма в волосах. А здесь не ныло ничего. Здесь было чисто, как в комнате, где никогда не зажигали даже свечи.

Либо в этих стенах не гасили огонь.

Либо то, что здесь делали с огнём, не оставляет гари — потому что огонь отсюда не уходил в пепел. Он уходил куда-то ещё.

Я закрыла книгу и долго сидела, глядя на свои руки. Хороший инспектор не строит догадок; хороший инспектор сверяет. Я записала себе: «ладони молчат на всех ярусах, гари нет; проверить нижнюю палату». И ниже, мелко, чего обыкновено не пишу: «спросить, куда девают пепел».

Хальд принёс еду к закату — серый хлеб, серый сыр, всё под цвет места. Я спросила как бы между прочим, разбирая записи: куда в Обители девают пепел угашенных, есть ли особое место, по уставу его положено хоронить отдельно. Старик поставил миску и долго молчал, так долго, что я подумала — не слышал.

— Наверх, — сказал он наконец. — Пепел идёт наверх. В башню. Лорд берёт.

— Зачем лорду пепел?

— А затем, госпожа, что из пепла он подымает свою бурю, — сказал Хальд и посмотрел на меня так, будто я спросила, зачем мельнику зерно. — Чем тушат, из того и буря. Считай свои книги. На башню тоже не ходи. — И ушёл, и я записала: «пепел — в башню, к лорду», и подчеркнула, сама не зная зачем, дважды.

Ночью я услышала ребёнка.

Восточная келья, которую мне отвели, была тёплая — единственное тёплое место, что я нашла в Обители, и я отметила это, потому что замечать, что где тёплое, — моя работа. Кто-то топил эту келью загодя и хорошо. Я лежала без сна, слушая, как снаружи шуршит по камню сухая пепельная позёмка — тихо-тихо, без ветра, будто кто-то метёт за стеной бесконечный пол, — и сначала приняла за позёмку и это. Тонкий звук. Высокий. Он шёл снизу, из-под пола, из тех нижних ярусов, куда мне не велели спускаться, и он повторялся через равные доли, и я, которая всё считаю, посчитала и его и поняла, что это не ветер. Ветер не считает. Это плакал ребёнок — тихо, привычно, как плачут те, кто давно понял, что на плач никто не придёт, и плачет уже не зовя, а просто чтобы не лопнуть.

Я лежала и слушала, и считала доли между всхлипами, и они были ровные, как мои собственные строки, и от этой ровности мне делалось хуже, чем сделалось бы от крика. Кричат, когда ещё надеются. Этот ребёнок внизу не надеялся. Он плакал так, как капает вода в забытом подвале, — потому что так устроено, а не потому, что кто-то услышит. Я выросла в учётном доме, где по ночам плакали сорок детей разом, и научилась не слышать сорок; но одного, ровного, считающего себя сам, я разучиться слышать не смогла. Я натянула одеяло на голову. Под одеялом было темно и тепло, и плач всё равно шёл сквозь пол, сквозь подушку, сквозь меня.

Я села. Ладони у меня стыли.

Не от ночного холода — келью топили. Стыли той самой стынью, которой они отзываются на укрытый, незаписанный дар. Снизу, оттуда же, откуда шёл плач, тянуло холодом в мои ладони, и холод этот говорил то, чего не могло быть: под Обителью Пепла, в которой по всем книгам не осталось ни искры живого дара, кто-то прятал огонь. Маленький. Живой. Плачущий.

Я не дура и не героиня дешёвого романа, чтобы среди ночи красться в подземелье к чудовищу. Я инспектор. Я сделала то, что делает инспектор: достала книгу и записала. «Ночь. Слышан плач ребёнка с нижнего яруса. Ладони отзываются на укрытый дар, направление — низ, восток. По Главному Реестру и книге Обители живого дара в стенах нет». Я перечитала и поняла, что записала противоречие — а противоречий в моих книгах не бывает. Либо лжёт мой дар. Либо лжёт книга.

Мой дар не лгал мне девять лет.

Я лежала до серого рассвета и делала то, что умею лучше всего, — сводила баланс. По одну сторону клала всё, на чём стояла моя жизнь: устав, Главный Реестр, подпись лорда Вердера, вытащившую меня из учётного дома, девять лет безупречных книг, веру, что записанное и есть правда. По другую — две вещи: молчание моих ладоней там, где должно ныть от гари, и плач ребёнка там, где по всем книгам нет ничего живого. Две мелочи против целой жизни. Любой счетовод списал бы две мелочи и спал спокойно. Но я была хорошим счетоводом, а хороший счетовод знает страшное: баланс сходится не тогда, когда большое перевешивает малое. Он сходится, когда сходится до последней монеты. А у меня не сходилось на две.

Утром я спустилась в нижнюю палату до того, как Хальд принёс еду, — не на нижние ярусы, туда вела запертая дверь, а в палату, где хранилась книга, чтобы при свете повторить вчерашнее. Я взяла наугад строку из середины. «Майда, ткачиха, огонь, к угашению» — и год, и день, и оба оттиска. Я сверила с коронной папкой: в папке Майда-ткачиха значилась проданной скупщику живой через четыре месяца после своего угасания. Угашена здесь. Продана живой

там. Одна из них — ложь. По уставу я обязана была заверить ту запись, которой верит империя, — запись Обители, заверенную поверочной печатью. Я достала свою.

Рука у меня не дрожала — я уже говорила, у меня не дрожат, это записано в каждой моей аттестации. Но я помню, что сделала вдох, какого не делаю над работой, и что в этом вдохе впервые за девять лет был не порядок, а его противоположность: я собиралась проверить не подсудного, не просителя, не чужую запись. Я собиралась проверить империю. Прижать её собственный инструмент к её собственному слову и спросить у свинца, не лжёт ли всё, на чём я стою. По уставу это не предусмотрено. По уставу неммыслимо. Устав нигде не говорит, что делать дознавателю, чья печать обличит Главный Реестр, — потому что тот, кто писал устав, не допускал, что Реестр может солгать. Я допустила. Это и была моя первая по-настоящему незакрытая графа, и я переступила её сама, своей рукой, в холодной нижней палате, под тонкий плач из-под пола.

И сделала то, чего инспектор делать не должен: прежде чем заверить, поверила сама. Прижала свою печать к строке «Майда, ткачиха, к угашению» — не чтобы утвердить, а чтобы спросить. Печать не лжёт. Чистый оттиск — запись верна, Майду угасили. Чёрная клякса — запись лжива.

Свинец под моей рукой потёк чёрным, и клякса расплзлась по имени ткачихи Майды, как расплзается по бумаге пролитый траур, и закрыла собой и её имя, и слово «угашена», и чужой чистый оттиск рядом, который десять лет уверял империю, что всё сошлось.

Запись лгала.

И я ещё стояла над этой кляксой, не дыша, когда за спиной у меня скрипнула дверь, и голос лорда Дейна, ровный, как зола, спросил:

— Что ты делаешь с моей книгой, счетовод?

Глава 3. Расхождение

— Я проверяю вашу книгу, лорд Дейн, — сказала я, не оборачиваясь и не убирая руки с расплывшейся кляксы. — Это записано в моём наряде. А вот что записано в вашей книге — неправда.

Я ждала, что он рассердится. Чудовища, когда их ловят, сердятся; я видела это сотни раз — у воров, у скупщиков, у солидных господ, чьи дома пахли укрытым даром. Гнев — первая монета, которой платит пойманный. Лорд Дейн не заплатил ею. Он подошёл, встал рядом, близко, так что я почувствовала, что от него не пахнет ничем — ни потом, ни вином, ни страхом, только сухим холодом пепла, — и посмотрел на кляксу над именем ткачихи Майды дольше, чем смотрят на знакомое.

Я умею читать людей по тому, чем они платят, когда их ловят. Вор платит гневом, потому что гнев дешевле страха. Честный человек, пойманный на чужой вине, платит растерянностью. Виноватый по-крупному платит спокойствием — он давно всё решил и только ждал, когда придут. Лорд Дейн платил тем, чему у меня не было графы: он смотрел на улику против себя так, будто наконец-то кто-то увидел то, что он один видел двенадцать лет, и ему стало не страшнее, а легче. Так смотрит должник, которому впервые предъявили его настоящий долг — не выдуманный, не завышенный, а ровно тот, что он сам себе насчитал бессонными ночами. Я не знала тогда, что бывают долги, которые платят облегчением. В моих книгах долг всегда платят со скрипом.

— Покажи печать, — сказал он.

— Печать дознавателя не передают в чужие руки.

— Я не прошу в руки. Подними её к свету.

Я подняла. Не знаю, зачем послушалась; может, потому, что в его голосе впервые не было золы — был интерес, острый, как у меня самой, когда я нахожу строку, которая не сходится. Он смотрел на свинцовый кружок, на знак Комиссии — раскрытую книгу и глаз над ней, — и на щербинки чекана по краю, и лицо его медленно менялось, как меняется небо перед той бурей, что он носил в себе.

— Где ты её взяла, — сказал он. Опять не вопрос.

— Мне её дала наставница. Госпожа Ауд, старший поверитель учётного дома, перед тем как умереть. Это против устава — печать положено получать новой, из рук Великого Поверителя. Я оставила эту. Она ни разу меня не подвела. — Я сама не понимала, зачем рассказываю чудовищу то, чего не рассказывала живым. — Старая печать. Ещё дореформенного чекана, до того как лорд Вердер свёл всю поверку под одну руку.

— Дореформенного, — повторил он тихо. И засмеялся — коротко, без веселья, как кашляют пеплом. — Вот оно что. Двенадцать лет, инспектор. Двенадцать лет сюда ездили ваши дознаватели, прикладывали свои новенькие печати к этой самой книге и уезжали, заверив, что всё чисто. Чистый оттиск за чистым оттиском. Ни один свинец не дрогнул. А ты приложила старый — и он плюнул чёрным с первой строки.

— Потому что строка лжива.

— Все строки лживы, — сказал лорд Дейн. — Вся книга лжива от корки до корки, счетовод, и я знаю это лучше всех на свете, потому что лгал её я. Своей рукой. Десять лет. — Он смотрел мне прямо в лицо, и я ждала торжества или вызова, а было — усталость, такая старая, что под ней не разглядеть было человека. — А твои чистенькие предшественники десять лет заверяли мою ложь и ни разу не споткнулись. Подумай об этом своей счётной головой. Не о том, что лжёт моя книга. О том, почему её ложь читается вашими печатями как правда.

Я попыталась свести это к простому. Хороший счетовод, поймав расхождение, сначала ищет ошибку в себе: описку, усталость, плохие чернила. Я перебрала все ошибки и ни одна не подошла. Печать не лжёт на правде — это закон ремесла, такой же твёрдый, как то, что вода течёт вниз. Если двенадцать лет чужие печати ложились чисто на лживую книгу, значит, либо все двенадцать лет в Обитель ездили слепые и продажные — а я знала кое-кого из них, и они не были ни слепы, ни продажны, — либо их печати были устроены так, чтобы лечь чисто на эту ложь. Печати, выданные из одной руки. Сведённые под одну руку реформой, которой я гордилась, потому что реформа навела порядок, а я люблю порядок. И мысль о том, кто свёл всю поверку империи под свою ладонь, прошла во мне не благодарностью, а холодом — тем самым, что бежит в ладони рядом с укрытым даром. Будто во всём здании имперского учёта где-то очень высоко был спрятан огонь, которого по книгам нет.

Я думала об этом. Я думала об этом всю дорогу вниз, потому что он повёл меня вниз — туда, куда сам же запретил спускаться, по узкой лестнице в брюхо Обители, и Хальд светил нам чадающей лампой и молчал, и пепел скрипел под ногами тоньше, чем наверху.

Мы шли мимо камер. Я считала и их — привычка, от которой не избавишься, даже когда земля уходит из-под веры. Сорок две двери, и почти все распахнуты в темноту, и за каждой когда-то держали огненного, приговорённого к угасанию. Я знала это из книги: сорок две по нижнему ярусу, заполнялись и пустели десять лет. Я вела ладонью вдоль косяков, как ведут пальцем по строчкам, и ждала боли — той ноющей, гарной боли, которой отзывается место, где гасили живой огонь. Гарь держится годами. Гарь от угашенного дара — как ввевшийся дым, её ничем не вывести. А косяки молчали. Камень был просто холодный камень, и пустота в нём была просто пустота, мёртвая, ровная, без следа того огня, что по книгам тут гасили сорок два раза. Либо в этих камерах не угасили никого. Либо то, что отсюда выносили, было ещё живым и уходило на своих ногах в чужие руки. Я шла и складывала пустые камеры в столбец, и столбец этот кричал мне в спину громче колокола, который ударит позже.

— Вы ведёте меня к тому, что лжёт ваша книга, — сказала я ему в спину. Моя счётная голова всё ещё пыталась свести баланс, и баланс выходил чудовищный. — Если ваши записи об угасаниях ложны, значит, угасаний не было. Значит, людей, записанных угашенными, не гасили.

— Часть не гасили, — сказал он, не оборачиваясь.

— Где же они?

— Часть — здесь. — Он остановился у двери. Не у решётки — у двери, обитой войлоком по краю, какие ставят там, где хотят, чтобы изнутри не было слышно. — Часть я не успел. Их забрали раньше, чем я придумал, как солгать. О тех не спрашивай. О тех я не сплю.

— Скольких не успели, — сказала я. Это вышло не вопросом. У меня всё выходит счётом; я не умею иначе, даже когда не хочу знать ответ.

— За мои десять лет — восемьдесят одного, — сказал он, и я услышала, что счёт у него тоже точный, точнее моего, потому что мой счёт — про монеты, а его — про лица. — Сто двадцать три записано угашенными. Сорок два из них — здесь и в других тихих местах, живы. Восемьдесят один ушёл туда, откуда я не сумел украсть. Хочешь, назову по именам? Я помню все. Это, инспектор, и есть та книга, которой нет ни в одном реестре, — та, что я веду в голове, потому что её нельзя заверить ничьей печатью, даже твоей честной.

Он отодвинул засов. И мои ладони, которые молчали во всей Обители, во всех её мёртвых ярусах, вдруг зашлись той самой стынью, что будит меня по ночам рядом с укрытым огнём, — но сильнее, ровнее, живее, и я поняла, что за войлочной дверью не склянка с краденым даром и не тлеющий уголь. За ней был живой человек с огнём, и человек этот был очень мал.

Мальчику было лет семь. Он сидел на топчане, поджав ноги, и при свете лампы я увидела, что вся стена над топчаном исчеркана углём — кораблики, собаки, человечки, солнце с лучами, целый детский мир, нарисованный единственной краской, какая есть в Обители Пепла. Он

не испугался лорда Дейна. Он испугался меня — чужого серого плаща, печати на поясе, — и отодвинулся к стене, и огонёк в нём метнулся мне в ладони так, что я едва не отдёрнула руки.

— Это Микка, — сказал лорд Дейн, и голос у него стал другой, я бы не поверила, что у этого голоса есть такая нота. — Микка, это инспектор. Она пишет в книгах. Покажи ей, что ты не боишься.

Мальчик посмотрел на меня исподлобья. Потом протянул чумазую ладошку, и на ней, между пальцами, сам собой вырос маленький язычок огня — жёлтый, тёплый, ровный, как огонёк лампадки, — и в этом огоньке не было ничего от того ужаса, которым нас всех пугают с детства, ничего от Великой Гари, ничего, за что жгут целые жизни. Это был свет. Просто свет в руке ребёнка, который рисует углём на стене, потому что других красок ему не дали.

Я опустила на корточки — медленно, как опускаются перед пугливым зверьком, — и моя счётная голова, которая всегда знает, что сказать, не знала ничего. Я умею говорить с просителями, со лжецами, с важными господами. Я не умею говорить с детьми; меня саму растили не разговорами, а описью. Поэтому я сказала то единственное, что умела.

— Красивый корабль, — сказала я, кивнув на угольную стену. — Двухмачтовый. Только у двухмачтовых руль кладут не так. Хочешь, покажу?

Микка посмотрел на меня недоверчиво. Потом подвинул мне обломок угля — половину, честно, как делятся последним, — и я, инспектор Корф, которая не держала угля с тех пор, как сама была мала и рисовала на стене учётного дома, чтобы хоть что-то в нём было моё, подрисовала его кораблику руль и волну под килем. Огонёк в ладошке мальчика стал ровнее. Тепло от него шло мне в запястье, и это было не больно, совсем не больно, а ведь меня всю жизнь учили, что укрытый огонь — это боль и угроза, это Великая Гарь, это конец порядка. Никто не сказал мне, что укрытый огонь бывает вот таким: семилетним, чумазым, делящим уголь пополам.

Я знала имя этого мальчика. Я листала эту книгу. «Микка, найдёныш, огонь, к угашению» — два года назад, оттиск проверки чистый, оттиск Смотрителя чистый, графа «исход» закрыта. По всем книгам империи мальчик Микка был угашен два года назад. Угашен — то есть его не было. А он сидел передо мной и грел ладошкой воздух, и был, и это «был» не помещалось ни в одну мою графу, и я впервые в жизни почувствовала, как графа — узкая, ровная, всю жизнь любимая мной графа — трещит и ломается, потому что в неё пытаются втиснуть живого ребёнка, а живой ребёнок туда не входит. Он больше графы. Они все больше графы. Я просто никогда раньше не видела ни одного из них живым.

В учётном доме нас учили, что мы — графы. Не дети, не сироты, не чьи-то потерянные — графы. У каждого номер, вес, сорт, отметка о здоровье. Я полюбила это устройство, потому что графа надёжнее ласки: ласку отнимут, а запись остаётся. Я выжила тем, что стала самой ровной графой во всём доме, и потом самой ровной во всей Комиссии, и ни разу не пожалела, потому что графа меня ни разу не предала. И вот я сидела на полу в брюхе Обителя Пепла, и держала за руку графу со словом «угашен» в исходе, и эта графа дышала, грела мне запястье и боялась моего плаща, и впервые за двадцать восемь лет я подумала страшное для счетовода: а что, если надёжно — не значит верно. Что, если всю жизнь я пряталась не в правде, а просто в том, что не дышит и потому не может предать.

— Вы фальшивите книгу, чтобы их прятать, — сказала я. Голос у меня был не мой. — Вы пишете «угашен» над теми, кого спасли.

— Я пишу «угашен» над теми, кого успел украсть у тех, кто пишет «угашен» по-настоящему, — сказал лорд Дейн. — Разница тоньше, чем кажется, инспектор, и однажды она тебе будет стоить сна. Те, кто наверху, тоже не гасят. Они тоже пишут «угашен» и тоже оставляют живым — на время. Только я прячу, чтобы жил. А они — чтобы доить. Огонь, выдоенный из живого, дороже золы. Зола ничего не стоит. Поэтому над одними именами «угашен» значит спасение, а над другими — склянку. И заверено всё одной и той же чистой печатью. Твоей

Комиссии, счетовод. Печатью, которую тебе должны были выдать новой и которую ты, на наше счастье, не взяла.

— Кто доит, — спросила я. — Если над «угашен» стоит склянка, а не зола, кто-то эти склянки получает. Огонь не хранят ради хранения. Кому он идёт?

— Наверх, — сказал лорд Дейн, и я во второй раз за день услышала это короткое слово, которым Хальд назвал дорогу пеплу. Наверх. — Я не знаю имени, счетовод, и не лги себе, что я его прячу. Я Смотритель тюрьмы на краю света. Ко мне приходят бумаги и приказы, и в бумагах нет имён, в них есть оттиски. Все нити моей лжи и всей чужой правды сходятся туда же, куда сходятся все книги империи, — в одну руку в столице, в ту, что заверяет последнюю поверку над всеми поверками. Кто эта рука, не написано нигде, потому что эта рука и пишет, что где написано. Ты ближе к ней, чем я. Ты её, может, даже видела. Может, она тебя гладила по голове.

Я не ответила. Мне нечем было ответить. Рука, что вытащила меня из учётного дома, гладила меня по голове ровно один раз в жизни, и я помнила тот единственный раз, как помнят тепло, потому что других было мало.

Я спрятала печать глубже в карман, к теплу, которое ещё держалось в свинце от ладошки Микки, и обрадовалась, чего давно за собой не помнила, что инструмент мой — старого чекана, не из той руки. Маленькая, кривая радость, какой радуется человек, поймавший себя на краю. Я ещё не выбрала. Но я уже знала, что выбор есть, а это для счетовода, всю жизнь верившего, что выбора нет, есть только сходимость, — само по себе было падением. Падать оказалось не страшно. Страшно было то, что внизу, кажется, стоял не пол, а кто-то, кто давно ждал, когда я наконец оступлюсь.

Я держала Микку за тёплую ладошку — не помню, когда взяла, — и не сводила баланс. Впервые в жизни я не сводила баланс, потому что свести его значило бы выбрать сторону, а я ещё цеплялась за мысль, что у поверки нет сторон, что я просто перо, что моё дело — сходимость. Лорд Дейн смотрел на меня, на мою руку в руке ребёнка, и не торопил.

— Зачем вы мне это показали, — сказала я наконец. — Я инспектор Комиссии. Я обязана внести это в книгу. Живой огненный дар, укрытый Смотрителем Обители, фальсификация коронных записей — за это вас не угасят, вас сотрут. И мальчика возьмут те, кто доит. Вы только что отдали мне в руки и себя, и его.

— Да, — сказал он просто. — Отдал. Потому что твоя печать плюнула чёрным, а это значит, что ты — первый за двенадцать лет человек короны, чей инструмент не врёт. Я ждал тебя двенадцать лет, инспектор Корф, и не знал, что жду, и, прах меня забери, ты оказалась хуже всего, что я мог представить: ты счетовод, который любит свою графу больше, чем людей в ней. Но печать у тебя честная. Значит, у меня есть выбор. Либо ты впишешь нас в книгу и уедешь с чистой совестью идеального пера. Либо посмотришь на этого мальчика ещё раз и спросишь себя, что на самом деле заверяли все твои чистенькие печати. Я не буду тебя держать. Я не держу никого. Я слишком долго был тем, кто держит.

Я открыла рот, чтобы ответить, и до сих пор не знаю, что бы сказала. У меня было два ответа, и оба были правдой, а это худшее, что бывает с человеком, который верит в один ответ на строку. Один ответ говорил: ты инспектор короны, закрой графу, впиши их обоих, спаси себя. Другой не говорил словами — он грел мне запястье и делил уголь пополам. Я стояла между ними, как стрелка весов, у которой никогда прежде не сходились чаши, и молчала, и лорд Дейн не торопил, потому что он, кажется, уже знал про эти весы всё, что мне ещё предстояло узнать.

И в этот самый миг наверху, во дворе, ударил колокол — не набат, один тяжёлый удар, какой дают, когда отворяют ворота для гостя с правом въезда, — и Хальд, спускавшийся за нами по лестнице, поднял свою чадающую лампу и сказал ровным, мёртвым голосом, от которого у меня кровь свернулась быстрее, чем от любой бури:

— С большой дороги всадник, милорд. Серый плащ, печать на поясе. Из столицы. Пишет в книгах.

Лорд Дейн не дрогнул — он, кажется, вообще не умел дрожать, — но что-то в нём подобралось, как подбирается зверь, услышавший вторую свору. Он шагнул к топчану, накрыл угольные рисунки Микки своей широкой ладонью, будто их тоже можно угасить, и тихо сказал мальчику два слова: «Тихий час». Микка кивнул серьёзно, привычно, погасил огонёк в ладонке так же легко, как зажёт, и забился в самый тёмный угол, и стал неотличим от тени. Этому ребёнку тоже научили — гасить себя по слову. В моей графе для этого нет места, а в жизни, оказывается, есть.

— Выбор за тобой раньше, чем я обещал, инспектор, — сказал лорд Дейн, выпрямляясь. — Наверху сейчас сядет за мою книгу человек, чья печать ляжет чисто на любую ложь. Если он увидит то, что увидела ты, — он этого не увидит, потому что не умеет. Но если это увидела ты и впишешь — нас не станет к утру. Так что решай, пока поднимаемся по лестнице. Ступеней тридцать одна. Я считал.

Ещё один дознаватель. Вердер прислал мне «помощь». А я стояла в подземелье, держа за руку мёртвого по всем книгам мальчика, и моя честная печать лежала в кармане тёплой от его огня, и заверить ею я могла теперь только одно: что назад дороги нет.

Глава 4. Серый лорд

Поверитель Кослин ждал меня во дворе, и я узнала его прежде, чем он назвался, потому что узнают своих: тот же серый плащ, та же печать на поясе, та же привычка смотреть на человека и сразу прикидывать, в какую графу его внести. Он был молод, моложе меня, гладко выбрит, с тем ровным румянцем, какой бывает у людей, ни разу не голодавших, и улыбался он ровно настолько, насколько положено улыбаться старшему по выслуге.

— Инспектор Корф, — сказал он, кланяясь так, как кланяются тому, кого собираются обойти. — Какая честь. Лорд Вердер шлёт вам поклон и тревогу. Вы задержались с поверкой, а Великий Поверитель не любит открытых граф не меньше вашего. Он послал меня помочь. Вдвоём мы закроем книгу вдвое быстрее.

— Поверка не курица, поверитель, — сказала я. — Вдвоём её не снесёшь быстрее. Но раз послали — работайте.

Он работал рядом со мной до полудня, и дважды его взгляд цеплялся за мою печать — за старый, истёртый чекан, за потемневший от времени свинец, такой непохожий на его новенький, блестящий кружок. Поверитель замечает чужой инструмент так же, как столяр чужой рубанок.

— У вас печать дореформенная, инспектор, — сказал он наконец, и в голосе была не зависть, а тихая укоризна доносчика, ещё не решившего, доносить ли. — Им давно положено замениться. Старый свинец, говорят, привирает. Лорд Вердер, если узнает, велит вам выдать новую. Хотите, я похлопочу?

— Старый свинец не привирает, поверитель, — сказала я. — Он просто помнит, как было до того, как все печати стали одинаковы. А насчёт похлопотать — не трудитесь. Я к своей привыкла, как к собственной руке. Руку ведь тоже не меняют на новую, поглаже.

Он улыбнулся и не настоял, но я видела, что он внёс это себе в графу. Я тоже внесла. В моей графе он назывался теперь не «помощь», а «глаза Вердера», и я знала, что эти глаза не закроются, пока не увидят, на чём я споткнусь.

Я знала эту породу. Кослин не был злодеем — злодеев среди нас, поверителей, почти нет, мы для этого слишком любим порядок. Он был хуже: он был усерден и пуст, как новая графа, и хотел вверх, и понимал, что вверх ведёт через чьё-нибудь падение. Моё падение подошло бы ему как нельзя лучше: обойти знаменитую инспектора Корф, ту, что не ошибается, — об этом в Комиссии будут говорить год. Он приехал не помогать мне закрыть книгу. Он приехал стоять рядом, пока я её закрою, и быть свидетелем, если вместо книги закроюсь я. И самым честным образом, с чистой совестью и чистым оттиском, он отвезёт лорду Вердеру всё, что увидит. Я подумала об этом холодно, по-счётному, и поняла вдруг, что меня посчитали раньше, чем я приехала считать. Меня послали сюда не потому, что я лучшая. Меня послали, потому что я удобная: если честная печать что-то найдёт — найдёт её та, кого легче всех стереть, сирота без родни, чьё имя есть только в их же книгах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.